

Вкруговую

Сталин

Читал. По-моему
писал жулик.

В.Молотов

Все та же жульническая
песенка, "я не я и лошадь
не моя". Л.Каганович

М.Калинин

Безусловно жульническое
письмо. В.Чубарь

Типичная бухаринская ложь.

Андреев.

Читал. К.Ворошилов

Бухарин продолжает свое
провинциальное актерство
и фарисейское жульничество.

А.Микоян.

Совершенно секретно

Секретарю ЦК ВКП(б)

тов.СТАЛИНУ.

Направляю адресованное на Ваше имя заявление
Бухарина Н.И. от 15 апреля с.г.

Зам.Народного Комиссара внутр.дел СССР
Начальник 4 отдела ГУГБ

(Я.Агранов)

19 апреля 1937г.

№ 244078

30-ен.

Следователю, капитану госуд.
безопасности Л.В.Когану.

П р о с ь б а

Прошу Вас, на основании п.12 "Правил внутреннего распорядка", направить данное письмо И.В.Сталину.

Арестованный Н.Бухарин
(камера № 81)

И.В. С Т А Л И Н У

Кремль

(в письме 9 исписанных полностью страниц).

Прошу никого до И.В.Сталина данного письма не читать.

Н.Бухарин.

ЭО-ен.



Ночь на 15 апреля 1937 года.

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ.

Лично

Это письмо носит такой характер, что я прошу, чтобы оно было переслано И.В.Сталину без предварительного чтения кем бы то ни было.

Здравствуй Коба!

(Я обращаюсь к тебе попрежнему, ибо попрежнему отношусь к тебе, несмотря на все, что произошло, и не хочу давать повода думать, что у меня есть хоть какое-нибудь недоброе чувство к вам, исключившим меня из своей среды и отправившим меня сюда — об этом я скажу подробнее после). Я не писал до сих пор, во-первых, потому, что мне были на плену — сделаны упреки, что я забрасываю ПБ и тебя письмами, точно и ПБ и тебе только и дела, что читать мои письма, — и я не мог после таких упреков (основывавшихся на полном непонимании моего душевного состояния) писать; во-вторых, мне было так тяжело и такие бури подымались в душе, такие горячие слезы закипали от обиды, огорчения, оскорбления — что я их потихоньку смахивал рукавом тюремной рубашки — и оставил всякую мысль о писании, стремясь уйти от действительности в какую-нибудь книгу, забыться, отдохнуть от кошмара. Вот уже несколько ночей подряд я собираюсь тебе написать, просто потому, что хочу тебе написать, не могу не писать, ибо и теперь ощущаю тебя, как какого-то близкого (пусть сколько угодно хихикают в кулак над этим, кому нравится; пусть издеваются, пусть распространяются о моем "лицемерии" — мне это решительно все равно: я в полной мере испытал уже все...).

Не обессудь, если что не понравится, но я вовсе не хочу отсылать чего-либо "облизанного", как говорил Пушкин — пусть у тебя будет и этот крик мой, на этот раз уже из тюрьмы.

На пленуме я чувствовал себя, как человек, невинно прикованный к позорному столбу. Всякий подходил и плевал мне в глаза, в рот, в уши, в душу, плевал с озлоблением, как в злейшего врага. Все, самое для меня святое, было (сейчас, на мое несчастье, проснулся мой со-сиделец, я не хочу показывать ему ни моих слез, ни моего волнения; я беру папиросу, откладываю писанье - пусть заснет). Продолжаю. Все, самое для меня святое, было превращено - по словам выступавших - в игру с моей стороны. Я в отчаянии клялся смертным часом Ильича. Ты-то, ведь, хорошо знаешь, как я его безгранично, всем сердцем и душой, любил. Я воззвал к его памяти. А мне заявили, что я спекулирую его именем, что я даже налгал, будто я присутствовал при его смерти; даже приводили "документ" (статья Зиновьева; а суть в том, что я после смерти Ильича уехал из Горок в Москву, а потом вернулся со всеми, что и описано в статье). Я писал в ПБ о Серго, которого я горячо любил, а мне в лицо бросили "спекуляцию"! Я едва ходил, а меня обвинили в шутовстве и театральщине (как только не обвинили мою бороду, что она поседела не от горя, а для обмана!). Я выворачивал всю душу, а мне кричали, что я лгу. И в том числе люди, которых я не только глубоко уважаю, но и глубоко люблю - Клим, Микоян - которых я считаю благороднейшими душами, истинными людьми. Даже ты издевался надо мной, что я ночью перестал есть (а я ведь до того именно ночью и ел, т.к. по ночам совсем не спал, писал только ночью и ел только ночью). Словом, в дополнение к политике и в связи с ней из меня сделали черного человека. От душевной боли я не знал, что делать, метался, у меня закладывало уши, когда я говорил и я двигал головой, чтоб освободиться - а меня корили, что я театрально "дергаю головкой". Куда же дальше идти? И это все - как дополнение к неслыханным обвинениям! Меня превратили, и как человека, в полную противоположность тому, что я есть, расклевали не только политически, но и морально.

И зря растоптали невинного. И все-таки я не имею абсолютно никакой злобы ни на кого и хочу это тебе подчеркнуть со всей силой. Я не имею этой злобы потому, что вполне понимаю умом, что все вы искренне поверили в мою виновность (по-разному, в разных дозах и с разными чувствами, но поверили). Что в создавшейся обстановке и при многочисленных наглых показаниях Радеков и других можно было поверить, что здесь есть много таких моментов, которые создают силу убедительности, что, наконец, вы обязаны, как руководители партии и страны, создавать гарантии безопасности, что чекисты добросовестно стараются поймать всех врагов и т.д. и т.п. - я это умом понимаю прекрасно. И поэтому, несмотря на весь бездонный трагизм своего положения, несмотря на свою политическую смерть и свое моральное расстройство - я не имею (и ни при каких дальнейших ваших решениях не буду иметь) озлобления, ни на иоту, против руководства партии - в этом я тебя заверяю от всей души. Я смотрю на все, как на результат столь несчастно для меня сложившейся обстановки в целом, такого переплетения событий, что не могу иметь такой злобы: она вся у меня направлена на негодяев-лжецов. Я верю и надеюсь, что когда-нибудь, может, с какого-нибудь совсем неожиданного конца, прорвется правда, и обнаружится, кто и почему на меня лгали и торговали моей кровью, честью, личностью, всем...

Я буду, вероятно, писать сбивчиво - прошу извинить: я опять разволновался до того, что дальше некуда, не знаю, как будут скакать мысли. Уже светает, сожигатель заснул крепко, гремят ключи. Да. Так я в этом письме хочу написать и короткую исповедь о себе по разным направлениям: только прошу, не подвергай ее поруганию, - я уверен, сам будешь, может, потом жалеть...

Я сижу в тюрьме ровно 1 1/2 месяца, и все прошлое проносится передо мной. Я видел здесь на очных ставках Астрова, Марецкого, Айхенвальда, Слепкова, - ты, конечно, получил давно протоколы допросов и этих очных ставок. Люди все эти озлоблены на меня внутренне до чрезвычайности, но у

некоторых были, на момент, возможно, и другие чувства. Озлобленность понятна: многие просидели чуть не по пяти лет, растеряли семьи (дети умерли, жены ушли, никого нет). Я не могу не чувствовать своей прошлой вины, смотря на них. Прошлые они (Астров сознательно, по-моему, во многих пунктах лжет) оценивают по-другому, ибо они продолжали борьбу, когда я ее кончил, и поэтому ретроспекция у них другая. Но мне больно было смотреть на них... Какой-то слепой Марецкий, который без очков ничего не видит, больной Слепков с лихорадочно-горящими глазами. Меня гложет то, что я их когда-то сбивал (как и они меня, но тут уже об этом не речь)...

Чем я жил, Коба, последние годы? Все сейчас изображается так, что я ничего хорошего не делал, и что я вел подкопы против партии, да еще знался с шайками бандитов. А на самом деле? Когда я работал у Серго, я работал на совесть, подымал новые вопросы, помогал оформиться массовому техническому движению и, по-моему, много сделал для об"единения вокруг партии и технических и научных сил. Во мне видели эти силы голос партии. В Академии, что бы там ни говорили теперь, никто больше моего не способствовал пониманию исторической роли и достоинства партии и ее руководства со стороны этих кругов, никто больше моего не способствовал росту искреннего интереса к марксизму. В "Известиях", где я проводил ночи напролет, я старался поставить на должную высоту освещение социалистической культуры революции. Посмотри об"ективно на газеты - как они делались раньше и как они стали делаться после моего прихода: они изменились радикально - и по диапазону вопросов, и по кругу авторов, и по внешнему оформлению газеты. А ведь получал массу писем от читателей с приветствиями по адресу газеты. Ну, может, я в чем увлекался, иногда делал ошибки, но я, ведь, живой человек. Я жил этим делом, ругался, негодовал на палки, которые мне вставляли в колеса, но считал, что я делаю наилучшим образом дело партии. Меня подтравливали, каждый № смотрели в лупу (буквально, в

стеклянную лупу), свертывали газету пополам, и вчетверо, — не придется ли карикатура на положительный заголовок так или этак и т.д. Я дрался, огорчался, может, делал глупости иногда, но я так увлекался, что меня дразнили близкие мне люди, что я перелистываю и перечитываю каждый № газеты по двадцать раз, брежу статьями и т.д. А мне теперь говорят, что я занимался вредительством! Вытащили на пленуме № с "вавилонской башней". Но, ведь, там — вспоминаю — было 2 рисунка, антитеза: один — как строили раньше (символ — вавилонская башня), другой (в том же №) — плановое строение (символ социализма). Это очень просто — отбросить второе, оставить первое и обвинить. Но разве это — правильно? Нет горше обиды, чем такая оценка. Говорили о злополучной статье, где вместо тяжелой индустрии у меня шла речь об основных фондах. Политически это было нехорошо. Но в 1934 году чтоб я был против тяжелой индустрии — так, ведь, разве это можно думать? Ты-то, ведь, хорошо знаешь, что у Маркса вовсе нет термина тяжелая индустрия, что этот термин взят из позднейшей немецкой литературы. Но разве Маркс не мог бы в своих терминах по существу защищать нашу позицию? Я признаю, что здесь была терминологическая ошибка, приобретающая политический оттенок. Но, господи, разве я хотел этого? Статья Морозова. В праздничный № я хотел дать статью единственного оставшегося в живых человека, который видел живого Маркса. Он передал единственный подлинный разговор Маркса. А мне теперь навязывают, что это сигнал к террору. Да что же это такое, в самом деле?

И вот получилось, что все мое горение для партии и для общего дела стало расцениваться, как черная антипартийная работа.

А о чем я мечтал, на что надеялся, о чем думал? Был ли я удовлетворен своим положением? Нет. Почему? Об"ясняюсь без всяких умолчаний.

Во-первых, я не подпускался к рабочим. Даже, когда я по служебной линии, в НКТП, должен был делать доклады, бывали такие случаи: зовут на завод (Шарикоподшипник),

за 5-10 минут звонят по телефону, настаивают. Приезжаю - "занято помещение" (дана контрдиректива). Ни одного крупного шага нельзя было сделать, не преодолевая сотен мелких придирок, препятствий и т.д. За все годы я ни разу в Москве не выступал перед рабочей аудиторией.

Во-вторых. В любом деле - придирки. В Академии я энергично издавал сборники, книги и т.д. По поводу каждой - скандалы. (Кстати, я, придя домой, смотрел криминальное предисловие - прочти его в целом: там перед инкриминируемой фразой говорится об СССР - и как!! а все содержание?...)

В-третьих. Я мечтал о большей близости к руководству и к тебе, не скрою. Я тосковал по крупным людям, я тосковал по более широкой работе. Что это, грех? Преступление? Тебя лично я снова научился не только уважать, но и горячо любить (опять, пусть сколько угодно хихикают люди, которые мне не верят, но это так). Я сам вырос, я многое понял из того, чему учат не книжки, а жизнь, годы, опыт, размышление). Мне было так одиноко от того, что мне почти не с кем было говорить о проблемах нашего времени, обмениваться мыслями, поставить вопросы. Оттого - по научной линии - я так привязался одно время к Деборину. Оттого - по другим вопросам - я сблизился с мерзавцем Радеком, не предполагая ни на минуту, что он - троцкистская сволочь. Я тосковал по людям, искал людей, прилеплялся к возможности умного общения. От вас всех я был отрезан, и это меня мучило, и я старался всеми силами сблизиться. Я думал - не скрою - что к лучшему изменится мое партийное положение на ближайшем партийном съезде. Я радовался, как действительно ребенок, что ты меня ввел в Конституционную Комиссию. Я бредил о доверии с твоей стороны и горячо любил, и горячо надеялся, и говорил об этом и негодяю Радеку. Все это было - и все полетело прахом, и я червем извиваюсь на тюремной койке...

Пойду и дальше в своей исповеди - не кори меня, но ты многое и так знаешь. Хочу сказать тебе прямо и открыто о своей личной жизни, о чем говорить не принято.

Ты знаешь, насколько трагична она была. Я в своей жизни вообще знал близко только четырех женщин. Н.М. была больна. Я фактически с ней разошелся еще в 20 году. Когда я сошелся с Эсфирью, она (Н.М.) чуть не сошла с ума. Ильич ее отправил за границу. Я временно разошелся с Э., чтобы дать оправиться Н.М., потом, боясь за нее, скрывал свои отношения с Э. Потом родилась дочь. Начались мучения неслыханные. Я иногда неделями не спал. Э-рь я мучил объективно ложностью ее положения. Зимой 1929 года она (б.м., и в связи с моим политическим положением тогда) разошлась со мной. Я был в ужасном состоянии, ибо я ее любил. Она завела себе другую семью. Я потом сошелся (необычайно быстро и сразу) с А.В.Травиной, знал, что она была близка и к кругам ГПУ. Меня это ни капли не смущало, ибо не было предмета для смущения. Мы очень хорошо жили, но вскоре воспроизвелось — на расширенной основе — старое. Н. травилась тогда, а с Сашей стали делаться нервные параличи. Я метался, как очумелый между двумя больными, думал одно время отказаться совсем от всякой личной жизни. С Сашей я жил совершенно открыто, всюду бывал, ездил в отпуска, она всюду считалась моей женой. Но все развивавшиеся мучения и здесь сожрали душу и наступил разрыв. Все это было мне тяжело и потому, что все женщины эти — были хорошими, умными и были привязаны ко мне до чудовищности (только Э. иногда позволяла нехорошие вещи, в особенности за самое последнее время). А меня давно любила Нюся Ларина (ты напрасно считал, что у меня "10 жен" — я никогда одновременно не жил). И раз было так: произошла ночью мучительная сцена у Саши. Ночевать "домой" я не пошел от нее. Я пошел к Лариным и остался там, — с этого началось. Не стану описывать всех перипетий. Но в результате я прочно сошелся с Анютой, Н.М. разгородилась со мной и успокоилась. Для меня впервые началась новая жизнь с этой стороны. Родился мальчишка, стал расти. Я-то думал: ну, вот, теперь начнет-ся новая эра: я не буду мучиться, кончены мученья, теперь все пойдет по-хорошему. Эта сторона жизни урегулирована,

освободится то количество энергии, которое пожиралось невероятными страданиями, с"едавшими радость жизни...

Все это было, и все полетело теперь прахом...

Для чего я тебе об этом пишу? Ибо пишу о всей своей за последнее время столь несчастной жизни. О надеждах своих недавних пишу. Об ориентации, о жизненных целях во всей их совокупности. Мне нечего стыдиться: если я хитрил и делал что-либо плохое, то, я знаю, не больше других, а меньше других.

Но не личная жизнь составляла основу моего бытия. Это миф, это - легенда также, будто я всегда "мнил о себе" (снова должен прервать: уже рассвет, сожитель по камере проснулся снова; встану, уберу камеру, вынесу парашу, испытаю все эти тихие радости, потом снова. Эх, горе! Тоска смертная!).

Продолжаю в другой обстановке: день, "при свидетеле" (должен держать чувства на узде). Да. Так вот - что я хотел сказать, оглядываясь на свою прошлую политическую жизнь. Я всегда - и в правильном, и в ошибках - исходил из интересов партии и класса, совершенно искренне, даже, скажу, размашисто-искренне. Я искренне думал, что Брест - величайший вред. Я искренне думал, что твоя политика 28/29г. - до крайности опасна. Из линии я шел к лицам, а не наоборот. Но что у меня было плохого, что меня подводило? Антидиалектическое мышление, схематизм, литературщина, абстрактность, книжность.

И вообще, и в связи с протоколами очных ставок относительно "генезиса идей" правого уклона, б.м. интересны следующие соображения.

Совсем неверно утверждение, что я готовился к борьбе с тобой загодя. То, что было, я сказал на допросах, не буду повторять. Было время, когда я с тобой лежал на диване у тебя - это я тогда готовился к борьбе? Вздор. А-вот что было к подходам к 1928г. Я искренне думал, что ты поступаешь не по-ленински; я опирался на множество цитат и т.д. из Ильича. А что было? Да то, что я понимал завещание

Ильича (не персональное, а о линии) буквально и формально. Ильич говорил: осторожно, лучше меньше, да лучше и т.д., пугал возможностью разрыва с крестьянством. Но к 28г. создалась особая ситуация, не входившая в поле зрения Ильича. Истинно-ленинское отношение должно было исходить не из абстракции, а из конкретности. Ильич в последних статьях не говорил об обострении классовой борьбы, а она стала в силу исторических условий фактом. А я, как школьник, хватался за букву, упуская дух. Это опять - "никакая диалектика", а схема: раз, мол, дело идет в общем по мирному пути, в общем - к отмене классов, в общем - "нужна одна культурная революция" и т.д., то нечего обострять. А не видел, что здесь возникли новые противоречия, новая ситуация, новые задачи, стали ребром новые вопросы. Ты, со своей прозорливостью, видел это, а мне казалось, что ты сворачиваешь с ленинского пути. И вот в 1928/29г.г. я в тебе видел воплощение анти-ленинской тактики. Это глупо, но это было именно так. Остальное навертывалось с логической неизбежностью, но никогда и нигде я не думал о сволочных методах борьбы, о которых говорят клеветники.

Сам я никогда не выдвигал себя на роль главного партийного руководителя - противоположное утверждение - вздорно. А после уроков правого оппортунизма, после периода неуверенности и непоследовательности, я-то - передумал многое. И мои мечты последнего времени (1933,4,5,6,7 годы) шли только к тому, чтобы прилепиться к руководству, к тебе в частности и в особенности, чтоб можно было работать на полную силу, целиком подчиняясь твоему совету, указанию, требованию. Мне нисколько не неловко писать это прямо. Ибо все эти годы политика определялась так безупречно - и во вне, и внутри - и так беспристрастно - смело, что я видел, как действительно, говоря по-старому, дух Ильича почиет на тебе. Кто решился бы на новую тактику КИ? На крутые повороты внешней политики? На железное проведение 2-й пятилетки? На вооружения Дальнего Востока и вообще в такой мере? На КВЖД? На ор-

ганизационные реформы? На новую Конституцию? и т.д. Никто. Что же я был слеп? Ничему не научился? Нет, я с великой радостью видел все это и, по мере сил, как умел, помогал. Как все растет, как на дрожжах — было ясно. Как идет подготовка к громаднейшим историческим делам — тоже. Я не настолько мелочен и мелок и глуп, чтобы вспоминать всякие "обиды", разжалования и т.д., что, впрочем, я в свое время заслужил. И видел действительно большое и, без преувеличения, великое, и все больше любил наново тебя, видя твой размах, размах и мысли, и воли, и дела. Мне было часто необыкновенно хорошо, когда удавалось быть с тобой (не тогда, когда вызывался для какого-нибудь разноса), даже тронуть тебя было хорошо. Я действительно стал к тебе чувствовать почти такое же чувство, как к Ильичу — чувство родственной близости, громадной любви, доверия безграничного, как к человеку, которому можно все сказать, все написать, всем поделиться, на все пожаловаться. Я люблю наших рабочих и наши народы, я с 17 лет был среди них и жил для них, и не только умом, но и сердцем. Я видел, как в тебе концентрируется ум и чувство целого, как и ты сам растешь. И что же удивительного в том, что я за последние годы даже забыл о тех временах, когда вел против тебя борьбу, был озлоблен, считал, что ты можешь погубить дело и т.д. и т.п. Было — и прошло, и так бесследно, и так глубоко, и так навсегда, что вот я и теперь, в этом трагическом положении, (сосед завалился одетым и спит, я даю волю чувствам) пишу тебе и о тебе, как о своей искренней любви. Я слышал твои суровые слова от комиссии. Я видел, как ты поглядывал на меня, когда я говорил. Я все это знаю. Но ты поверил в мою преступность, ты ошибся, но ты мог поверить — это я знаю. И поэтому я так пишу тебе. А я с презрением ощущаю подлость клеветников. И поэтому я смею так писать тебе.

До чего ужасно и противоречиво мое здесь положение, ты просто не поверишь. Ведь, я любого тюремного надзирателя — чекиста считаю своим — а он меня называет "гражданин", смотрит, как на преступника, хотя корректен. Я тюрьму считаю

своей. Я почти месяц не хожу на прогулку, чтобы не видеть взглядов, которые на меня бросают часовые, — лучше сидеть в дыре своей, только не встречаться с людьми, которые думают про меня плохое. Это состояние так мучительно, горечь и обида так велики, что думаешь все время о том, как уйти от этой действительности...

Первое время я уходил так, что все время читал и ночи напролет писал. Разреши для отдыха мне (ибо у меня страшно разболелась голова от волнения) сделать перерыв и перейти к моей работе. (Я здесь кончил книгу), — это другая тема, и я чуть-чуть успокоюсь.

Книгу я задумал написать, когда был за границей для покупки архива Маркса. Я ясно видел, что широкие круги интеллигенции нюхают воздух: с кем идти; что интерес к СССР огромен; что, однако, эти круги интересуются специфическими вопросами, на которые часто у них с нашей стороны нет ответа. Огромный успех моего доклада в Париже об"яснялся, как мне говорили, тем, что я поставил ряд именно таких вопросов. Тогда я и задумал написать книгу на эти темы. Не скрою и того, что и здесь у меня были мечты и надежды. Я думал, что ты ее прочтешь, хотел ее тебе посвятить и просить тебя написать маленькое предисловие, чтоб все знали, что я целиком признаю себя твоим, а теперь и твоим учеником, открыто выступал именно так. Думал: ну, вот, это тоже будет точка над і, пусть больше никто не осмелится трепаться. И это полетело все прахом!...

Но я половину с лишком дописал до тюрьмы, а здесь написал вторую часть об СССР. К несчастью, несмотря на неоднократные обещания, мне первой части до сих пор не дали, не дали и порций (переписанных на машинке — обещали переписать) второй, не дали и книг просимых — хотя все было обещано с самого начала. Часть II (здесь написанная) — об СССР. Написана по такому плану:

Гл.1. Об исторической точке зрения и исторических критериях оценок.

Гл.П. Материальная база социалистической культуры.

Гл.Ш. Создание целостного человека.

Гл.1У. Проблема нац.культ. и создание целостной соц.культуры. Европа и Азия.

Гл.У. Создание целостного человечества.

Гл.У1. Многообразие в капит.и соц.обществе.

Гл.УП. Проблема личности и общества.

Гл.УШ. Проблема равенства и иерархии.

Гл.1Х. Проблема свободы.

Гл.Х. Проблема прогресса.

Гл.Х1. О стиле социалист.культуры.

Гл.ХП. Партия и дикт. пролет. в культ.рев.

Заключение.

Не знаю уж, как удалось. Писал порциями, не видел целого, а теперь уж у меня ничего нет на руках. Всего с первой частью: Оглавл.+Введение+26 глав+Заключ. - думаю около 300 стр.(печатных). Я бы очень просил, чтобы мне дали все для отделки, просмотра, уничтожения неизбежных при таком методе писания повторений, для дополнений, исправлений. Я очень бы просил, чтоб дали мне возможность окончательно отделать эту работу и затем отослать тебе, а ты сделаешь, что найдешь нужным (если бы я мог надеяться, что ты укажешь, что нужно исправить и т.д., я был бы просто счастлив); если бы можно было бы напечатать, хотя бы под псевдонимом, это было бы счастье, ибо мучительно работать впустую.

Ну, перерыв кончился. (Да, я не могу сидеть без дела, и очень бы просил, чтоб мне разрешали получать через домашних книги, которые мне нужны). Но я хочу сделать физическую передышку, т.к. очень устали глаза: они стали болеть от непрерывного электрического света днем и ночью и от непрерывного в таких условиях чтения, да и голова очень болит. Не обессудь.

Продолжаю снова.

Ты можешь меня спросить: все это, б.м. хорошо, но почему ты увливаешь от вопросов о правом центре, связи с троцкистами, методах борьбы специфических и т.д. Я их не обхожу. Но я о них все уже сказал, — добавить мне нечего. Я могу еще теоретически (не для следственных протоколов) допустить, что для прежних периодов я мог кое-что забыть; могу допустить, что для периода 1930-1932г.г. я все вижу в смягченном свете, что на самом деле мое потакательство "ученикам" и "хитрости" (и их держать на привязи потаканьем, и партии служить; и людей при себе сохранить, не уничтожив групповщины, и партийную линию вести; и жить компанейски, и жить партийно; и проводить партийную политику, и поддакивать или мириться с оппозиционными нотами и т.д.) было серьезнее, что, мол, видно по результатам. Все это еще можно допустить, ибо за последние годы (33-37) я жил так, что все прошлое быльем поросло: другие люди, настроения, атмосфера, интересы, желания — все. Но когда мне говорят о том, что я — проповедник террора, что я давал правым такие директивы, что я знал о троцкистско-зиновьевских планах, что я был связан с этими бандитами, что я знал об их связях с иностранцами — извините! Вся кровь мне бросается в голову, и я готов драться кулаками. Когда иногда по ночам (очень часто) явспоминаю, в чем меня обвиняют, я дрожу от бешеного негодования, и безумной тоски, и ярости по отношению к мерзавцам и лжецам, которые всех вас убедили в своей лжи, лжи подлой, бесчеловечной, не знающей никаких границ. Мне поэтому нечего сказать здесь, кроме слов возмущения. Это было и это будет всегда и при всех условиях. Я — не Радек и другая радековская сволочь. Из меня нечего выжимать: и на воле, и в тюрьме, и где угодно, я буду только негодовать, когда мне будут задавать такие вопросы, ибо нет ничего более лживого, как эти обвинения, ничего более омерзительно-противного и противоречащего всей моей жизни и всему моему существу.

Я пишу тебе и о книге, и о том, и о сем. Это вовсе не значит, что я не понимаю серьезности своего положения. Я отлично знаю, что со мной можно сделать теперь решительно все, что угодно (и "технически" и политически). Но на этих пунктах у меня собираются моментально для протеста все силы души, и я ни при каких условиях не пойду на такую подлость, чтобы клеветать на самого себя из страха или из других аналогичных мотивов. Сократ отказался признать правильность обвинения и только поэтому должен был выпить чашу с цикутой, и Гегель виляет по этому поводу в своих лекциях по истории философии. По-моему, он поступил правильно, Сократ. Я не лезу в Сократы (как к философу не чувствую к нему никакого почтения), но никакими средствами нельзя заставить меня совершить позорное клеветничество против самого себя. Пусть вы все, и ты в частности, мне сейчас здесь не верите; пусть на меня клеветают дальше; пусть вы думаете теперь, что я играю в театр, хотя и рискованный. Но я-то знаю, что я прав. И я-то смею надеяться, что когда-нибудь - через год, два, не знаю когда - треснет медная оболочка лжи, и весь этот "общезначимый" "социально-организованный опыт" распадется. Только для этого, б.м., стоит оставаться жить и работать, что можно. Вы не можете понять всю силу несчастья, горя, боли душевной, великой трагичности бессилья невинно обвиненного и оплеванного своими: тут некуда податься, не к кому апеллировать. Я не могу сказать и убедительно об"яснить, почему и для чего люди лгут. Следствия я не подозреваю в каком бы то ни было обмане: они честные люди безусловно (критических замечаний не делаю, ибо всякое мое критическое замечание истолковывается, как подкоп и стремление дискредитировать честных людей и полезных работников Союза). И вот остается кусать локти и исходить в тоске и муке.

Исключением из партии, которую я так любил и люблю, я убит. А на что я надеялся все же? Вовсе не на твою доброту и вовсе не на "пощаду", а на знание. Я думал, что ты меня

все-таки настолько хорошо знаешь, что не сможешь никому поверить, будто я черный человек, несмотря ни на что. На это я действительно надеялся. И когда после первого пленума ты отложил вопрос, и я рассказал дома об этом, слезы показались у всех, у Нади просветлело лицо, и она сказала: "Какие ведь они хорошие, наши". У меня до сих пор стоят эти лица перед глазами; как они верили, что нутро правды победит (я сам сейчас плачу, как дурак, благо соседа вызвали на допрос). И это были светлые слезы любви, и преданности, и веры, прекрасное чувство родства и братства с вами...

В заключительном слове Н.И.Ежова на пленуме, в качестве доказательства того, что я и в 34г. якобы поддерживал связи со своими мною осужденными "друзьями", фигурировали два моих письма: 1) к Е.Ярославскому о Владимире Слепкове и 2) к Медведю о Катыльнове.

Последнее письмо об"ясняется вот как (я с Катыльновым вообще никаких связей не имел): ко мне пришел Д.Л.Талмуд, физик и сотрудник ГПУ, которому я помогал в устройстве специального назначения лаборатории, наход. в ведении ГПУ. Он меня просил написать Медведю, чтоб тот дал ему Катыльнова, о котором он, Талмуд, знает от Смородина. Тогда по просьбе Талмуда я, не имевший представления о том, что такое Катыльнов (он мне его назвал Ваня Катыльнов), написал Медведю и т.к. Талмуд сказал, что за К. были какие-то оппозиционные грехи, я в этом же письме к Медведю написал и об этом и указал, что нужно специально проверить К. по этой линии (все это можно прочесть в оригинале письма; все это можно проверить и у Талмуда). Так какая же это связь? Какая же это переписка с друзьями, мое письмо начальнику ГПУ по просьбе сотрудника ГПУ?

2) Письмо о Влад.Слепкове.(Влад.Слепкова не нужно смешивать с Василием Слепковым). Я получил по почте сумасшедшее письмо Влад.Слепкова (он был и в психиатрической больнице). Я никогда не видел и не знал, что этот "Володя" был бы причастен к группе Слепкова. И я написал тогда письмо в ЦКК, Е.Ярославскому. Не Слепкову, а члену парттройки ЦКК. И это — грех? И это — моя "связь" сомною осужденными слепковцами?...

Но довольно об этом. Прости, что я и так затянул письмо до чрезвычайности, "давно не говорил с тобой. Жизнь сейчас — ты пойдем — мне не дорога, да к тому же Эпикур замечательно сформулировал: "Когда мы есть, смерти нет; а когда смерть есть, нас нет". Но поскольку я живу, я хочу что-нибудь делать для других — раз, и доставлять возможно меньше горя для своих близких — два.

Мне в конце пленума Н.И.Ежов сказал — "вышлем через дней 10". Прошло 45 дней, ничего неизвестно. Да я и так знал, что не все, что говорится, делается — и на это не в претензии. Но я бы просил вот о чем:

1) я около месяца тому назад просил Н.И.Е. о разрешении свиданья с женой, Анютой Лариной, но ответа я (ни положит., ни отрицат.) не получил, т.к. я полагаю, что Н.И. не хотел решать этого вопроса без вас, а в то же время считал его настолько мелким, что не вносил его на ваше, ЦК, усмотрение, то я решаюсь об этом просить; здесь страдает больше Аня (уж она-то за что?);

2) если мне предстоит здесь долго сидеть, то я не только повторяю вышеизложенную просьбу о рукописи (это при всех условиях), но и прошу о таком модусе, чтобы мне выдавали книги из Института Маркса-Энгельса, и разрешали жене приносить их мне;

3) вообще же, при решении вопроса о том, куда вы меня будете направлять и что со мною делать, я убедительно прошу принять во внимание, что мне нужны книги из Инст.М-Э. — без этого трудно что-либо путное будет делать; а я бы просил давать мне заказы;

4) у меня семья осталась без всякой материальной базы, и я уже месяц почти не знаю, что и как, ибо не имею ни прямых, ни косвенных вестей (я уж не говорю о пособии дочери, которое я давал и др.); если я буду жив, мне нужно иметь какую-нибудь работу - я, напр., мог бы выполнять переводную работу: она безымянна, а я ее могу делать хорошо; а то Анята пропадет с ребенком на руках - отец мой сам на ладан дышет.

Извини за эту прозу. Иногда, когда во мне мелькнет жизнь (и это бывает), и здесь мечта: а почему меня не могут поселить где-нибудь под Москвой в избушке, дать другой паспорт, чтоб не вводить в соблазн окружное население, дать двух чекистов, позволить жить с семьей, работать на общую пользу книгами, переводами (под псевдонимом, без имени), позволить капаться в земле, чтоб физически не разрушиться... (не выходя за пределы двора). А потом, в один прекрасный день вызывают: "Ну, Николай, новость: "Х и У сознался, что тогда тебя оболгал. Мы проверили дальше. Ты оказался прав". Вот радость, вот воскресенье из мертвых, вот светлый день...

Это - область теперешних мечтаний и снов.

Иногда, Коба - по правде сказать - бывает мне себя самого очень жаль. Я знаю, что очень многое мог бы делать и вот гибну здесь. Режим здесь очень строгий: нельзя даже в камере громко разговаривать, играть в шашки или шахматы; нельзя походя в коридоре говорить вообще; нельзя кормить голубей в окошке - ничего нельзя, - такого режима я еще не видывал. Но зато полная вежливость, выдержка, корректность всех, даже всех младших надзирателей. Кормят хорошо. Но камеры темные, и круглые сутки горит электрический свет. Натираю полы, убираю, чищу парашу и т.д., - все это знакомо. Но сердце разрывается, что это - в советской тюрьме, и горе мое, и тоска моя безграничны...

Будь здоров и счастлив.

Н. Бухарин

15 апреля 1937г.
Внутр. тюрьма НКВД.

30-ен.